

ЖИЗНЬ,
РАССКАЗАННАЯ
ЕЮ САМОЙ

«Зачем нужна любовь»

Эдит
Пиаф



Эдит Пиаф
Эдит Пиаф. Жизнь,
рассказанная ею самой
Серия «Уникальная
автобиография женщины-эпохи»

Издательский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63317848

Эдит Пиаф. Жизнь, рассказанная ею самой. Зачем нужна любовь:

Яуза-пресс; М.; 2014

ISBN 978-5-9955-0456-6

Аннотация

Эту книгу невозможно читать без слез. Она для одного человека – последнего мужа Тео, который годился Эдит Пиаф в сыновья (младше на 20 лет!) и которому она придумала псевдоним «Сарапо» (по-гречески: «Я люблю тебя»). Ради него она боролась со смертельной болезнью, ради него выходила на сцену, преодолевая невыносимую боль, и пела, пела, пела, завершая каждый концерт хитом «А quoi ça sert l'amour?» («Зачем нужна любовь»). А Париж не хотел верить, что такое возможно – бескорыстная страсть молодого красавца-грека к умирающей от рака, скрюченной артритом, некрасивой женщине, в 40 лет выглядевшей на все 60. За глаза его обзывали альфонсом,

женившимся на великой певице ради ее славы и денег, – но ему было все равно, он не замечал оскорблений – у него была Эдит. Когда ей было плохо – он часами отвлекал ее смешными рассказами и прикрывал от вездесущих камер; когда ей было больно – носил на руках, прижимая к груди. Он как мог пытался защитить своего «воробышка», отвоевать для нее у смерти хоть день, хоть час... и отвоевал почти год. Лишь после похорон потрясенная публика убедилась в том, о чем Тео знал с самого начала, – что никаких «несметных богатств» Пиаф не было в помине: она никогда не умела копить деньги и ушла, оставив мужу лишь многомиллионные долги, светлую память о великом чувстве, какое бывает раз в жизни, и свой незабываемый голос. Эта книга – пронзительная исповедь счастливой женщины, открывшей миру, «ЗАЧЕМ НУЖНА ЛЮБОВЬ».

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Зачем? | 8 |
| Сначала было начало | 17 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 42 |

Эдит Пиаф

Эдит Пиаф. Жизнь, рассказанная ею самой.

Зачем нужна любовь

*Я из тех горемык,
Что, сгорев до конца,
Все равно продолжают светиться.
Сердце я не берег,
Ведь, себя пожалевав,
К недоступной звезде не пробиться.*

Жак Брель. Дерзание

© Павлищева Н., 2012

© ООО «Яуза-пресс», 2014

* * *



Зачем?

Тео, мне тебя предсказала гадалка. Нет, не так – Провидица!

Знаешь, тогда я была замужем за Жаком Пиллсом, красавцем Пиллсом, молодым, всегда улыбающимся, готовым наговорить кучу комплиментов даже вшивой бесхвостой собаке, ковыляющей на трех лапах. Жак смеялся над моими пристрастиями к спиритическим сеансам и попыткам узнать будущее у ясновидящих, а я упорно ходила от одной гадалки к другой.

И вот одна из них, выглядевшая вполне нормальной женщиной, без черепов, черных кошек или сатанинского блеска в глазах, вдруг сказала, что вся моя жизнь – подготовка к встрече с суженым. Мой суженый молод, годится мне в сыновья, красив, строен и затмит в моей памяти всех, кто был до него. Он уже существует и даже ждет меня!

Знаешь, я замучила ясновидящую, появляясь у нее вновь и вновь.

– Но я уже все сказала!

– Опишите его...

Увидев у себя в палате шапку твоих черных волос и услышав твой голос, я поняла, что это та самая встреча. Но, господи, как же поздно!

На столике рядом с моей больничной кроватью расположился уже целый ряд подарков – куколка, какие-то безделушки, каждая очень мила и со смыслом, в нескольких вазах бесчисленные букеты, которые ты приносил каждый раз. Фиалки, невесть где раздобытые посреди зимы... «Они так похожи на ваши глаза, Эдит...»

– Мои глаза? Что ты, Тео, от моих глаз уже и воспоминаний не осталось.

– Они фиалковые, я знаю, просто, когда вы смотрите в зеркало, не так хорошо видно, а когда смеетесь или поете, тогда лучше.

Смешно, но я помню каждый день, почти каждый час из тех, что ты рядом со мной. Боже, как их мало, ничтожно мало по сравнению с часами, что были до этого, без тебя!

Господи! Господи! Господи!

Оставь его мне

Еще немного,

Моего любимого!

На день, на два, на неделю

Оставь хоть ненадолго...

Тео, я пела эту песню до встречи с тобой, имея в виду других, но теперь знаю, что пела о тебе и о себе. Как мало осталось, и как больно это сознавать...

Я потеряла счет дням, и, если честно, мне впервые не хотелось выздоравливать и выбираться из больницы! Смешно?

Для меня вовсе нет. Раскрою секрет: я знала, что, когда наступит завтра, снова придешь ты, принесешь какую-нибудь смешную мелочь, начнешь что-то рассказывать, блестя глазами и иногда вдруг переходя на греческий, когда нужно показать что-то особенное, но не хватает слов и даже взмахов рук. Тео, это так смешно, когда ты – большой, сильный ребенок – рассказывал что-то по-гречески, и я только по ширине разведенных в стороны рук понимала, что это откровенное привирание рыбака о пойманной добыче. Рыба явно была больше меня и сильнее в несколько раз.

Знаешь, я тихонько попросила доктора не торопиться выписывать меня из больницы! Тот чуть растерянно пробормотал:

– Я обещал вашему другу, что выпишу поскорей, чтобы он мог вас забрать. А он обещал беречь вас от сквозняков...

– Какому другу?

Фраза удалась со второй попытки, потому что от подозрения, сладкого подозрения, Тео, горло перехватил спазм.

– Высокому молодому человеку, что ходит каждый день. Он вам не друг, мадам?

– Друг, и еще какой. Можете выписывать: если он обещал беречь, то обязательно сбережет.

Врач подозрительно покосился на мою счастливую физиономию и на всякий случай уточнил:

– Это точно ваш друг, мадам?

Я поманила врача к себе скрюченным пальчиком, и, когда

тот наклонился, тихонько поинтересовалась:

– Слишком молод и красив? А я рядом с таким красавцем старая развалина?

– Вы – Эдит Пиаф!

– Это на сцене я Эдит Пиаф, а вот здесь, на больничной кровати, тридцать килограммов костей и кожи, и нужно быть осторожной, чтобы кожа не прорвалась и кости не рассыпались по всей палате.

Врач оказался что надо, он также тихонько рассмеялся, оценивающе окинул мои мослы, прикрытые одеялом, и покачал головой:

– Думаю, вы ошибаетесь, мадам, килограммов на пять больше.

– На два!

Новый критический взгляд.

– Согласен, на три!

– Доктор, вы не могли бы подать мне зеркальце, оно вон там. Сейчас придет этот красавец, а я такая растрепанная!

– Помаду, мадам?

– И помаду, пожалуйста...

Ты забрал меня домой, помнишь? И нес на руках.

Все так просто...

– Эдит, вы долго пробыли в больнице, будет кружиться голова, и эскулапы подумают, что рано выписали. Можно, я понесу вас хотя бы по лестнице?

Я вспомнила «эскулапа», с которым беседовала перед тво-

им приходом, счастливо улыбнулась и милостиво согласилась:

– Несите, это не слишком тяжело.

Рослый красавец-грек (не спорь, мне лучше видно, и вообще, оценить красоту мужчины может только женщина!) навсегда вошел в мою жизнь. Почему-то с первого дня я была уверена, что ты меня не бросишь, что бы со мной ни случилось. Было ли мне стыдно? Однажды я услышала вслед шипение:

– Как не стыдно, снова подцепила молоденького!..

Нет, мне не стыдно, это последний подарок судьбы, Тео, я точно знаю, что последний и что ненадолго. А еще, что я его заслужила.

Ты привез меня домой, помог устроиться поудобней и смущенно топтался, явно не зная, что делать дальше. Тео, до чего же у тебя был глупый вид, когда ты наконец решился пробормотать:

– Можно мне завтра прийти?..

– Нет!

– Нельзя?

– Тебе нельзя уходить!

– Уже поздно...

– Тео, ты не мог бы пожить здесь? Мне рядом с тобой спокойней.

– Могу...

Ты улыбаешься, как кот перед большущей миской сметаны, тебе об этом никто не говорил? Я в ответ не смогла не расплыться в улыбке тоже.

— Тогда останься. И еще запомни: для меня поздно — то, что за полдень. Все, что с вечера до этого времени, — рано.

Ты кивнул. Мальчишка мальчишкой! Смущенный подросток. Я невольно восхитилась: как ты умудрился, вымахав под потолок, остаться таким ребенком во всем? Чуть растерянный, боящийся меня обидеть...

В тот день я улеглась спать непривычно рано — не утром, а всего лишь в полночь, изумив всех. Но не спала, а лежала, глядя на ночник, и... мечтала. Ну не дура ли? Правда, Тео, я мечтала, что встану на ноги, смогу осилить свои болячки, хотя прекрасно понимала, что мне никто не восстановит часть удаленного кишечника или искореженные суставы. Но это казалось совершенно неважным. Я знала, что встану и даже смогу петь!

Вот смогу, и все, вопреки всем прогнозам врачей и недоброжелателей! У меня был ты, я знала, что ты мой. Мне за тобой, Тео, спокойно и даже тепло, как за большой каменной стеной, укрывающей от ледяного ветра действительности.

Тео, я не хочу тебе лгать, ни в чем не хочу, это честно. Я слишком дорожу тобой. Мои песни и ты — все, что у меня осталось. Еще друзья, их не так много, настоящих, не бросивших на краю, но они есть.

Мне кажется, что я древняя старуха, прожившая несколько жизней, бурных, не похожих в начале и в конце, но в чем-то одинаковых. В моей жизни было много событий, о которых я сама не знала или забыла, и о которых известно только благодаря «заботливым» биографам. Они так много раз-узнали из того, что вообще невозможно разузнать, столько придумали...

Я до такой степени превратилась в легенду, что во многое поверила сама. Бедный, несчастный воробушек...

Я могу невольно солгать. Не нарочно, не из желания выглядеть лучше, не со зла или любви к вранью, нет, невольно. Ты меня простишь?

И еще: эти записи тебе передаст Симона Маржентен. У меня есть великолепный секретарь – моя любимая Даниэла Бонель. Но они с Марком так заняты идеей достроить свой и мой дом, чтобы я могла там отдыхать, а не снимать где-то виллу, как сейчас, что им некогда. Они замечательные, просто замечательные, они те друзья, на которых можно положиться в горе и с кем хорошо делиться радостью. Когда меня не будет, не теряй с Бонелями связи. Как не теряй ее с Луи Баррье и с Симоной Маржентен.

У меня много друзей, но им всем некогда, однако Бонелям некогда иначе. Многие приезжают, чтобы поддержать меня, напомнить о прежних днях, им кажется, что если в моем доме снова поднимется гвалт, как когда-то, то мне сразу полег-

чает.

Да, я не могу жить в тишине, я ее не слышала с детства, тишина давит на меня, но и гвалт переносить уже тоже не могу. А главное – фальшивые улыбки и заверения, что почти не изменилась (и даже похорошела!), что выгляжу куда лучше (а слышится «хуже»), чем месяц, два, три... назад, что еще вернусь на сцену... Я отвечаю, что вернусь обязательно, мол, даже мысленно готовлю новую программу, останется озвучить ее, как только врачи разрешат...

И все прекрасно понимают, что не разрешат, не озвучу, не вернусь. Человек с дыркой в животе, который живет только инъекциями и двумя ложками каши в день, не может петь. Я едва двигаюсь. Надо смотреть правде в глаза и называть вещи своими именами. Пора подводить итоги.

Это не исповедь, просто я хочу, чтобы ты что-то понял, чтобы научился сопротивляться, как это всю жизнь делала я, знал, что можно подняться с самого дна на самый верх и держаться на этом верху тоже можно, если знать, что нужно делать, а чего категорически нельзя. Но главное – очень-очень много работать, не жалея ни себя, ни тех, кто вокруг на сцене и за ней.

Если единственный светильник, который у тебя есть, – твое сердце, подожги его и подними повыше, чтобы людям было светлей. Не бойся сгореть, это не страшно, страшно тлеть под толстым слоем пепла и мусора, когда ни себе ни людям.

Я не наставляю, я подаю пример.

Сначала было начало

Я родилась...

Это единственное, в чем я совершенно уверена. Просто потому, что еще никому не удавалось жить, не родившись для начала.

Боже, сколько глупостей насочиняли о том, где и как я родилась! На парижской мостовой, якобы моя мать не успела добежать до роддома, а отец – вызвать «Скорую». И роды принимал не врач, а полицейский. Парижская улица в буквальном смысле слова моя родина!

Кто мог рассказать правду о моем рождении? Никто, потому что она никого не интересовала. Родилась и родилась, мало ли в Париже рождается детей, никому не нужных, толком не имеющих ни семьи, ни дома? Официально семья была, но отец – Луи Гассион – в то время был на фронте, а мама, Анита Майар, предпочитавшая псевдоним – Лин Марса, очень скоро отдала меня своей матери, которая занималась... дрессировкой блох! Да-да, на ее фургоне, грязном, завшивленном, насквозь пропахшем дешевым вином и псиной, было написано: «Салон ученых блох». Помимо меня, в этом «Салоне» жили семь собак, то и дело приносивших потомство, три не отстававших от них кошки, хомяки, попугаи и несколько птичек.

И снова я должна верить рассказам родственников, не

слишком правдивым. Если верить отцу, бабушка любила красное вино и по широте душевной щедро делилась этой любовью со мной, забывая при этом накормить.

Когда сам отец приехал из армии на побывку и разыскал меня в салоне блох, то с ужасом увидел, что огромная, по сравнению с тельцем, голова просто болтается на тонюсенькой шейке, на самом теле нет живого места от укусов всяких насекомых (блохи, прежде чем начать учиться, предпочитали подкрепить силы мной или собаками), а на лице одни огромные глаза, постоянно слезившиеся. Кожа на руках, ногах и даже голове в страшных коростах, видно, бабушке в голову не приходило, что маленьких детей вообще-то надо мыть, они сами этого делать не умеют.

Подхватив меня в охапку, что сделать совсем нетрудно, только опасно – ножки и руки-палочки могли легко сломаться, отец привез к своей матери в Берне.

Вот Берне я уже смутно помню, правда, не столько зрительно, сколько звуки и запахи. Больше звуки. Они если и были необычными, то не для меня, с рождения (и до него) привыкшей к жизненной грязи и в свои два года видевшей все, кроме нормальной жизни и детства. Сестра мадам Гассион держала бордель, он был маленьким, всего на пять «девушек», зато вся эта пятерка, не имея возможности тетехать собственных детей, бросилась выхаживать меня!

Я не знаю, была или не была недовольна эта бабушка, но судя по фотографиям, меня отмыли и приодели, а главное –

откормили. Давали или нет вино, тоже не знаю, возможно, давали, ребенок-то был приучен.

Знаешь, я никогда не говорила этого разным любопытным, ни к чему им знать, но, думаю, я не умела разговаривать, когда папа привез меня к «маме Тине», как называли мою двоюродную бабуку. Не могу утверждать точно, но отец однажды говорил, что первым словом, которое я произнесла, было «папа», а когда он разыскал меня в «Салоне ученых блох», я едва слышным голоском довольно прилично выводила мелодии, похожие на птичьи трели. Я не вру, правда. Это неудивительно: если ребенок не слышит ничего, кроме бабушкиного хриплого смеха, собачьего лая и птичьих песен (птицы-то были певчие), то чему еще можно научиться? Удивительно, как я не стала ругаться раньше, чем говорить.

Забористо выражаться я научилась позже.

Тео, я поняла!

Говорят, что за все в жизни надо платить, вернее, расплачиваться. После каждой неприятности, каждой катастрофы, а ты знаешь, их у меня хватило бы на десятерых, я искала, за что расплатилась, и не всегда находила, иногда не понимая, за что же жизнь меня казнит. А сейчас вдруг поняла!

Тео, я не расплачивалась, а сначала платила, а потом получала, понимаешь, сначала платила, словно судьба не доверяла мне, боясь, что я захочу все ее подарки и ничего не дам взамен!

О, жестокая...

Это так, вот послушай: сначала я, еще не будучи ни в чем виноватой (не считать же виной само рождение!), с трудом выжила у бабушки Майар среди блох, собак, кошек, хомяков и птиц, без мытья и кормежки, чтобы попасть в заботливые руки «девушек» в доме другой бабушки – Леонтины, «мамы Тины», как звали ее все. Неважно, чем занимались «девушки», обо мне они заботились куда лучше, чем в «Салоне учебных блох».

Я была почти слепа, это все не зря, а чтобы научилась слышать лучше, чем смотреть. Понимаешь, когда невозможно что-то разглядеть, а на глазах чаще всего повязка, поневоле начинаешь прислушиваться. Я слышала и запоминала песенки, которые пели «девушки», конечно, фривольные, даже колыбельные, которые пели мне, не были похожи на те, что тебе пела мать. Но это были песни, а не лай и ругань!

Слепотой, невозможностью быть в детстве, как все, невозможностью играть, бегать, резвиться, дружить с маленькими детьми, даже просто возиться с куклами я оплатила музыкальный слух, способность схватывать мелодию с первого прослушивания и запоминать навсегда.

У меня действительно не было нормальных игрушек, кукол, как у других девочек. Я не была слепой совсем, но почти не могла открыть глаза, скорее подглядывая за миром, чем живя в нем. Этот кератит – воспаление роговицы глаза, болезнь часто собачья. Наверняка я подхватила ее именно в

бабушкином фургоне от наших псов, с которыми спала в обнимку. Помогла и дистрофия, отец рассказывал, что, когда он наконец-то разыскал этот блохастый фургончик, я была безумно слабенькой.

Я ничего не помню из того времени, кроме песен, которые распевали «девушки». Неудивительно, ребенок многое воспринимает не сознательно, а глазами и ушами. Видимо, мои глаза были плохи, оставалось надеяться на уши. Девушки заметили, что я часто тру глаза руками и как-то странно себя веду. Врач поставил неутешительный диагноз и посоветовал чаще промывать глаза, не смотреть на яркий свет, держать их закрытыми, а меня саму хорошо кормить.

А потом мне и вовсе наложили повязку на глаза. Их промывали, закапывали, закладывали какую-то мазь и снова прикрывали повязкой. Представляешь шести-семилетнюю девочку, лишенную возможности распахнуть глаза и увидеть солнечный свет? Я воспринимала мир на ощупь и на слух. Второе было даже важнее.

Так я заплатила за хороший слух.

Но я плачу до сих пор, плачу боязнью темноты. Поэтому меня трудно заставить лечь спать до рассвета. Я не сознаю сама себе, но прекрасно понимаю, что глубоко внутри сидит страх, что если вокруг станет темно, то эта тьма не рассеется уже никогда. Спать с включенной настольной лампой? Пробовала, но однажды ночью случились какие-то

неполадки и электричество отключили. Боже, какой я испытала ужас, проснувшись в полной темноте!

С тех пор спать только после рассвета, чтобы, открыв глаза, увидеть свет в окне.

Я знаю, что для всех это неудобно, что я доставляю нормальным людям много проблем своим распорядком дня, и тебе в первую очередь, но это сильнее меня, Тео. Если бы я могла справиться с этим ужасом перед темнотой, я бы справилась. Но даже гипнотизер не смог помочь, он может усыпить меня, но не может заставить не бояться темных окон или одиночества. Никто не может.

В больницах я всегда исхитрялась оставлять щелку в двери, просила об этом, якобы чтобы успеть позвать на помощь, если понадобится, а в действительности, чтобы видеть полосу света из коридора.

Прозрела я после искренней молитвы бабушки и ее «девушек». В Берне все знали, что неподалеку в Лизье живет сестра Тереза и что ее молитвы святой Терезе обязательно приносят облегчение страждущим. В один из августовских дней «мама Тина» и ее подопечные оделись скромно, но парадно, так же нарядили меня, закрыли свое заведение и отправились пешком вымаливать у святой Терезы мое прозрение. Дело в том, что мне должны были снять повязку с глаз, которую я носила полгода или больше. Это последняя надежда: врач не скрывал, что если не поможет, то я постепен-

но ослепну совсем.

Буду ли видеть? Остаться на всю жизнь почти незрячей или вообще слепой – это страшно, вот «мама Тина» со своими крошками и решила помолиться.

Это было в день святого Луи – 25 августа. Помогли ли молитвы? Наверное, да, ведь девушки любили меня искренне и так же искренне желали мне счастья. Ты знаешь, что, если чего-то очень-очень желать и хорошо попросить, Небеса обязательно помогут. Я прозрела. Когда повязку сняли, я долго не решалась открыть глаза, просто потому, что разучилась это делать. А открыв, поняла, что вижу!

Это второе рождение, потому что маленький человечек, так и не успевший нормально познать мир при помощи зрения и долго лишенный такой возможности, теперь знакомился со всем заново. Первое время мне приходилось закрывать глаза, чтобы понять, кто из девушек говорит, потом я открывала и сопоставляла... Так же с остальными звуками, даже самыми простыми. Простые голоса, смех, пение, шум движущейся машины, топот ног... Все, что раньше было очень смутным или в тумане, что раньше только звучало, теперь приобрело краски, стало объемным не только когда к нему прикасаешься, но и на расстоянии.

Двигаться, глядя под ноги, а не на ощупь вдоль стены, уверенно брать ложку, видеть не только тени, но и полутона, мелкие детали, в конце концов, просто распахнуть глаза, не испытывая режущей боли, – разве это не второе рождение?

Но слух, на мое счастье, остался.

Казалось, теперь будет все хорошо, но не тут-то было! Я больше не была слепой, а потому отпала необходимость жалеть меня. И если девушки «мамы Тины» помогали из сердечных побуждений, то в школе быстро сообразили, что зрячая девочка непременно наглядится в борделе того, чего ей видеть не полагается. Я повзрослела, а значит, вполне могла набраться ненужного опыта и рассказать о нем одноклассникам. Вот тогда мамы и возмутились, требуя, чтобы «девочку из борделя» убрали от их ангелочков!

Я не знаю, насколько одноклассницы были ангелочками, потому что ни с кем не дружила: не только родители детей, но и собственная бабушка требовали, чтобы я не подходила к другим девочкам. В любом случае мое пребывание среди крошек «мамы Тины» не могло долго продолжаться, бабушка сама сообразила, что это прямой путь в ее заведение, а потому попросту потребовала от отца, чтобы тот решил мою судьбу.

Приехавший отец даже прослезился, поняв, что его дочь больше не слепа и даже без повязки на глазах, и судьбу решил. Поскольку Луи Гассион не знал другой судьбы, кроме своей собственной, и других занятий, кроме выступления на улице, то он забрал меня с собой. Куда? В никуда! На улицу, в снимаемые на ночь-две комнатки в грошовых, завшивленных гостиницах с тощим матрасиком на скрипучей продавленной кровати, с обедами в пивных, где пьяные мужчины

ссорились и даже дрались, в вольницу улиц...

Правда, сначала мы все же поездили в небольшом фургончике за цирком Кароли, где отцу предложили выступать. Но цирковая семья сродни уличным актерам, там тот же аскетизм быта и непостоянство. Отец проработал недолго, я не знаю, что именно случилось, но мы вернулись в Париж уже без фургончика и стали настоящими бродячими артистами. Мне нравилось...

Я пела всегда, даже когда не умела говорить, тонюсеньким голоском выводила мелодии, похожие на птичьи трели. Это сейчас, после многих лет курения и выпивки, голос у меня стал хриплый, а тогда был звонкий. Хотя какой-то налет слышался в нем всегда. Я не помню, но так говорят все. В это можно верить: наверное, сказалось то, что я слышала в первый год, – бабушкин хриплый смех и голос. Знаешь, я не видела ее с тех пор, как отец забрал меня из «Салона» с блохами, потому не помню, как и «маму Тину», которую практически не видела, даже когда жила у нее.

Забрав меня от «мамы Тины», отец невольно окунул в свою бесприютную жизнь. Я уже тебе говорила, что отец был бродячим актером, но он не читал монологи Гамлета, это никто не стал бы слушать, не пел – невозможно долго петь на улицах, обязательно потеряешь голос; он был акробатом.

Когда я сейчас вспоминаю то, что творил Луи Гассион, мне становится жутко. Обычно такое делают женщины, их

зовут гуттаперчевыми, женщинами-змеями, женщинами без костей. А тут мужчина. Отец был маленького роста (мама тоже не слишком велика), у него был немыслимо гибкий позвоночник, который гнулся во все стороны, точно так же во все стороны выгибались и суставы.

А еще Луи Гассион многое делал на голове, даже ходил! Я смутно помню как, потому что, когда стала взрослей, из-за сильных головных болей он уже перестал этим заниматься. Кажется, вставал на голову и, используя руки, шагал, словно на трех ногах. Наверное, это ужасно больно.

Могу сказать точно: отец себя ничуть не жалел, он жил, пока слышались аплодисменты и пока в нашу тарелочку бросали деньги. Подозреваю, что он и жил ради аплодисментов. Поэтому с раннего детства я не мыслю себе другой жизни, кроме той, в которой звучат эти самые аплодисменты.

Я ничуть не осуждаю отца, он по-своему старался сделать меня счастливой, вовлекая в свою жизнь, – наверное, ему это казалось правильным. Нет, не так, для него, в его жизни это и было правильным. Зачем девочке, которая будет жить в фургончике, школа? Читать он меня научил сам, я легко разбирала буквы на вывесках, а больше к чему?

– Книги? К чему они? Кто-то сочиняет истории про других людей, а мы должны читать? Никто не напишет книгу о нашей с тобой жизни, а значит, они нам не нужны. Когда-нибудь у тебя будет свой мужчина и свои дети. Снова заботы, которые не оставят времени на разные глупости.

И все же мы читали. Парижане забывали книги на скамейках в саду, на парапетах, просто бросали в урны. Конечно, среди таких книг редко встречались стоящие, чаще действительно мусор, который не жаль оставить или выбросить, но все же... В книгах была другая жизнь, а поскольку я не видела, как живут нормальные люди в нормальных семьях, все происходящее в этих историях воспринималось как сказка. А вокруг была жестокая проза, с пьяными криками в кафе, неприкаянностью, продажной любовью, холодом и даже голодом.

Но всегда было знаешь что? Уверенность! Да-да, я не сомневалась, что завтра мы снова выступим, заработаем на то, чтобы поужинать, что где-то приткнем свои бедные головы, что утром снова будет день. Именно тогда я научилась не беречь ни силы, ни деньги. Нельзя копить, зачем, если завтра снова можно заработать?

Прошло много лет, но я так и живу. Это правильно и неправильно одновременно. Беречь силы нельзя, это недостойно настоящего артиста. Копить деньги тоже, они зарабатываются, чтобы тратить, на себя или других – неважно, на других даже приятней. Но наступает момент, когда не остается ни того ни другого. Сил, чтобы снова заработать, уже нет, а вместо денег, которых еще недавно было вдоволь, одни долги.

Но тогда судьба дает Тео, который носит на руках, потому что собственные ноги мадам Ламбукас не носят, и зарабатывает

вает, потому что мадам нужно чем-то кормить. Мадам ест как птичка, больше не позволяют врачи, но все же...

Тео, я впервые сижу у кого-то на шее! Это удивительнейшее состояние, между прочим. Я всегда работала, с тех самых пор, как прозрела и стала выступать с отцом. Всегда зарабатывала не только для себя, но и сначала для Симоны, потом на подарки возлюбленным (роскошные подарки), на толпы «милых паразитов», которые заполняли мой дом, а вот теперь ничего не зарабатываю. Меня кормит муж. Сорок лет я кормила многих, а теперь один кормит меня... Бедный Тео, тебе придется отдуваться за всех!

Отец хотел, чтобы дочь вместе с ним стала акробаткой, он бы подбрасывал меня вверх, а я делала невозможные сальто, вызывая восхищение зрителей. На мое счастье, быстро выяснилось, что я слишком слаба, чтобы совершать воздушные пируэты. Думаю, если бы стала выступать вместе с отцом как акробатка, то быстро переломала все, что возможно, и давно загнулась в какой-нибудь грязной конуре, корчась от невыносимых болей.

Но я приносила прибыль Луи Гассиону. Сначала зазывала зрителей, тогда у меня вместо тихого, тонкого голоса и прорезался сильный, чуть резковатый, потом обходила собравшихся с тарелочкой, уговаривая:

– Вот наберем пять франков, и представление начнется. Еще немного, совсем чуть-чуть... Еще монетку, мсье, хоть

одну...

Думаю, отец понимал, что это ненормально, потому что он говорил:

– Ты должна научиться еще чему-то, нельзя просто собирать деньги. Пусть это делает кто-то другой.

Ему вторил товарищ, с которым мы часто выступали вместе, Камиль Рибон. Камиль не был акробатом, он был самодеятельным актером. Сейчас, пытаюсь вспомнить, что он такое изображал, я даже не могу подобрать этому название. Если отец прыгал на голове, гнулся во все стороны, пока не начинали по-настоящему трещать суставы и кости, то Камиль страдал. Он был очень большой, хотя, возможно, мне это просто казалось. Во всяком случае, рядом с отцом он выглядел великаном.

Я не знаю, сколько лет Камиллю, как не знаю, куда он потом девался, но мне он казался стариком, потому что лицо было покрыто глубокими морщинами. Пожалуй, он был молод, потому что голос имел молодой, и гигантом тоже был, многие люди оказывались ему по плечо. Рибон изображал страсти в случае конца света, он рвал на себе рубаху (потом приходилось зашивать), хрипел, словно задыхаясь, катался по земле, к восторженному ужасу зрителей, или делал вид, что его голова раскалывается, а руки и ноги просто не действуют... Я не знаю, почему это вызывало интерес у зрителей, но его с удовольствием просили:

– Эй, Камиль, покажи, как отнялась рука!

Он протягивал к говорившему руку, и... та падала, словно подрубленная. Все новые попытки заставить руку подняться или хотя бы пошевелить пальцами «не приводили» к успеху. Я думаю, он был прекрасным мимом, способным играть боль и несчастье так же легко, как другие веселятся. Говорят, впервые увидев, как он обнимает меня той самой рукой, которая только что висела плетью, я закричала от ужаса. Кстати, так же кричали некоторые зрительницы, когда рука, вдруг ожив, протягивалась к ним.

Рибон тоже считал, что меня нужно научить чему-нибудь, что приносило бы доход с меньшими физическими мучениями. Кажется, он был даже рад, что отцу не удалось сделать из меня акробатку.

– Да, Луи, девочка должна петь.

Я пела для себя, пела по просьбе Камиля, но на публике запела «нечаянно», хотя, думаю, это нечаянно было отцом тщательно продумано. Отец зачем-то научил меня «Марсельезе», причем поскольку сам знал только припев, то и я пела лишь его. Получалось лучше, чем у отца.

И вот однажды, когда меня всю еще «ломало» после перенесенной простуды и даже двигаться было тяжело, отец объявил, что поскольку я не могу сделать сальто после сбора денег, как делала обычно, то взамен спою. Я широко раскрыла глаза, мы ведь не договаривались!

– Спой, доченька, ту песню, что пела мне вчера...

Но я знала из «Марсельезы» только припев, пришлось с

него и начать. Отец, видно, рассчитывал, что публике хватит и этого, однако ошибся, зрителям понравилось, как маленькая девочка (а я производила впечатление пятилетнего ребенка, будучи уже вдвое старше) с большими печальными глазами поет национальный гимн.

Слова припева быстро закончились, и я принялась петь... только мелодию, выводя ее тонким, но звонким голоском. Публика пришла в восторг от услышанного, петь мелодию «Марсельезы» легче, чем выводить птичьи трели, и, когда я, почти торжествуя, пошла по кругу, монеты посыпались в тарелочку куда щедрей.

Aux armes citoyens! Formez vos bataillons!
Marchons, marchons,
Qu'un sang impur abreuve nos sillons!

Я впервые собрала аплодисменты на улице за выступление, я, а не отец!

Он был чрезвычайно доволен: оказалось, что мои выступления тоже могут приносить доход, и даже больший, чем его выкручивание позвоночника или «страдания» Рибона. Вечером за стаканчиком перно он плакал счастливыми слезами:
– Камиль, я не зря родил эту малышку...

С того дня я пела «Марсельезу» только на «бис», а в качестве основного репертуара отец немедленно разучил со мной те песни, что знал сам, вроде «Китайских ночей». Не густо, и

они совсем не подходили для тоненькой крошечной девочки. Потом я научилась вылавливать песни сама, подслушивая их в редкие минуты, когда рядом оказывалось радио.

Мелодия запоминалась быстро и легко, а вот со словами приходилось помучиться. Не потому что память плохая, просто разобрать слова в песне иногда трудно, а уж в шуме какой-нибудь забегаловки просто невозможно, приходилось либо вставать под приемник, либо выдумывать текст самой. Второе чаще – каюсь, я пела известные мелодии с собственным текстом. Сейчас я больше всего жалею, что тогда не умела писать (Тео, не смейся, я и правда не умела писать, а кто мог меня научить и где?), потому что тексты я выдумывала ничуть не хуже настоящих.

Но главное знаешь в чем? Эти тексты о нас, об улице, о тех, кто на этой улице жил и кто слушал мои песни. У меня еще не окреп голосок, а потому тексты были весьма кстати. Ну, скажи, какой Пьеро или Жан пожалеет монетку девчонке, которая поет о его любви к Нанетте и его удали, на которую эта Нанетта должна непременно обратить внимание. Наоборот, он приводил и Нанетту послушать, а та, зардевшись от удовольствия, тоже обязательно добавляла свою монетку в мою тарелочку.

Отец был просто счастлив, он без конца повторял, что дал мне в руки то, что прокормит меня до самой старости.

– Только береги свой голос...

Луи Гассион даже не подозревал, насколько окажется

прав, мой голос прокормил не только меня, но и его, маму, Симону, еще целую толпу «милых паразитов». Ты же знаешь, что я так звала толпу, кормившуюся у меня в доме?

Сколько меня за них ругали, кстати, часто ругали те, кто сам являлся этим самым паразитом. Раньше в доме завтракала, обедала и ужинала толпа, причем даже когда мне самой больше двух ложек каши в день после операции есть не разрешали, паразиты с удовольствием ужинали икрой с шампанским, поднимая тосты за мое здоровье.

Почему их нет теперь? Да потому, что у меня нет денег. Нет денег – нет икры и шампанского, нет поживы – нет и паразитов. Рыбы-прилипалы не держатся за мертвую большую рыбину, они находят другую, живую. Отсутствие в моем доме множества «доброжелателей», которые раньше с удовольствием приходили выразить свое восхищение моим пением и остаться на пару часов, пару дней, пару недель... и так далее... лучше любых финансовых счетов говорит о моем бедственном положении. Никому не нужна талантливая певица с ее голосом, если с нее нечего взять.

Тео, во всем есть свои плюсы, зато теперь вокруг меня остались только настоящие друзья. И ты – моя любовь, моя последняя любовь, это я уже хорошо понимаю.

Тео, тебе тяжелее всех других моих мужчин и даже друзей, но ты уж меня прости, прости за капризы, они не столько из-за вредного характера, сколько из-за беспомощности. Это очень тяжело – понимать, что ты уходишь и ничего по-

делать с этим нельзя! Прости за резкость, за приказной тон, такая уж я, теперь поздно переделывать, прости за все, что сделала или сказала не так.

Но я отвлеклась! Если я сейчас начну говорить о наших с тобой отношениях, вернее, моем отношении к тебе, то заплачусь. Я попробую сначала рассказать тебе о себе, а потом обязательно, даже если это потребует последних моих сил, скажу, как сильно я люблю тебя. Люблю иначе, чем любила всех других, иначе, чем любила Марсея Сердана, это любовь, в которой смешались чувства несостоявшейся любовницы, матери и дочери, наставницы и ученицы (да-да, я многому научилась у тебя за эти месяцы!), властной женщины с грубоватыми манерами, привыкшей командовать всеми, кто вокруг, и беспомощной девочки, для которой единственная защита в этом мире – ладонь, вложенная в твою большую ладонь.

С отцом мне было хорошо, он мало что требовал, почти ничего не заставлял и многое позволял. Если бы только не его любовницы, которых папаша менял то и дело. Вот кто умел очаровывать женщин! Чуть повыше меня самой, щуплый, гибкий, он был немыслимо обаятелен, во всяком случае, менял женщин столь же часто, как и города выступлений. Мы объездили всю Францию, и всюду оставались его возлюбленные и даже его семьи. Я знаю только одну сводную сестру по отцу – Денизу, но не сомневаюсь, что их (и братьев

тоже) много больше.

Симона Берто тоже называет себя моей сестрой по отцу. Я не уверена, на отца она ничуть не похожа и на свою мать, насколько я помню, не очень, значит, похожа на кого-то другого. Может, на Берто? Но я не против того, чтобы она звалась моей сестрой, даже после всего, что случилось, того безобразного расставания и доставленных неприятностей.

Мы выступали с отцом, Симона оказалась гибче и сильнее меня, а потому Луи Гассион привлек ее, а не меня к акробатическим номерам. Но я была только рада, мне не слишком нравилось, когда подбрасывают, потому что появлялась мысль, что если упаду, то покалечу отца. Симона тоже не выросла большой, она выше меня на пару сантиметров, в чем видит дополнительное доказательство своих родственных связей с Луи Гассионом.

Симона много выдумала в своих рассказах о нашем детстве и юности; если ее слушать, то я, не будучи в состоянии толком держать голову ровно, уже болтала и даже кричала бабушке, чтобы не снимали ботинки. Это в два года (а то и меньше)! Я смеялась:

– Симона, ты хоть изредка вспоминай, что я старше тебя всего на два года, не на десять.

Если ей верить, то я помню все с момента собственного рождения. Выдумки Симоны пошли гулять по миру с дополнительными украшениями. Но в главном она права: мы действительно сестры, нет, скорее всего, не по крови, иначе отец

сказал бы мне о ней, как о Герберте, а по духу. Такая связь иногда крепче родственной.

Отец обращался с ней не совсем как с дочерью, хотя заботился и ценил. Ее мать занималась непонятно чем, этого даже сама Симона не знала. Временами где-то работала, то торговала цветами, то была прислугой, то просто где-то болталась и год за годом плодила детей. Причем, дав жизнь очередной дочери, мамаша не задумывалась, куда потом денется ребенок, ее дело родить, а выживает пусть сам.

Симоне повезло, что в то время у нее был хотя бы формальный отец. Жан Берто, как мог, заботился о всех дочерях своей непутевой супруги, но Симона предпочитала считать своим отцом Луи Гассиона и выступать с ним. Я не ревновала ни тогда, ни сейчас, и даже когда жизнь, а вернее, ее дурь развела нас, не держала на бедолагу обиду.

Гассион подбрасывал свою названую дочь в воздух, гнул, словно та была без костей, сам ходил на больших пальцах, тоже гнулся, а я обходила зрителей с тарелочкой и, передразнивая отца, хриплым голосом убеждала раскошелиться. Публика с удовольствием хохотала и бросала монетки (уже без большого удовольствия).

Симона ревновала меня к отцу, постоянно подчеркивая, что я ничего не умею, что это они с Гассионом зарабатывают деньги, а я только собираю. Меня это задевало мало, но однажды я все-таки схитрила, сказалась больной и не пошла с ними. Сборы оказались заметно меньше. Думаю, Симона

ревновала еще и к тому, что отец держал меня при себе, а ее у ее матери. Она обижалась, но мне кажется, что сам Гассион никогда не признавал Симону своей дочерью. Ее мать могла родить ребенка от кого угодно, слишком со многими спала.

Симона говорила, что это потому, что у меня нет матери, а у нее есть. Если честно, то такой матери, как у нее, мне не нужно. Хотя и таких, какие были у меня, тоже...

Отец приноровился давать объявление в газету, что требуется молодая женщина для ухода за девочкой. Этой девочкой, вполне способной ухаживать за кем-то самой, была я. Уход за мной очень быстро и плавно перерастал в любовную связь отца с моей «гувернанткой». Им бы задаться вопросом, откуда у нищего уличного акробата деньги на воспитательницу для дочери, но женщины, очарованные Луи Гассионом, просто не успевали ничего спросить, как давали согласие и становились моими мачехами.

Конечно, не каждый раз женщина у отца появлялась после объявления, но бывало... И, конечно, далеко не все они относились ко мне тепло и ласково. Это зависело не только от выручки, которую я приносила, но и от того, были ли у мачех собственные дети. Если были, то мне приходилось несладко, хотя я никогда не жаловалась отцу. Но однажды поняла, что он привязался к очередной «Изабелле» не на шутку, а та меня вовсе не жаждет видеть каждый день, и решила... бежать!

Куда? В Берне, в дом к «маме Тине». Ведь я была уже взрослой – целых десять лет! Но главное, я была хитрой.

Сначала сумела припрятать ассигнацию, которую нашла на земле. Потом припрятала платье, понимая, что, сбежав из дома, мне нужно будет переодеться. О, это такое приключение!.. Писать я не умела, но считала и читала, особенно вывески, вполне прилично. Расспросив между делом у подвыпившего отца дорогу в Берне, то есть выяснив, что ехать нужно поездом и даже делать пересадку, я все хорошенько запомнила и еще пару раз переспросила.

Конечно, мне самой билет не продали бы, но помог молодой человек лет шестнадцати, который, как и я, старался выглядеть как можно старше. На мою просьбу, не может ли меcье взять мне билет, любой взрослый мужчина ответил бы отказом или вообще позвал полицейского, а этот мальчишка солидно кивнул и билет купил.

Мне удалось попасть в поезд, но я страшно боялась контролера, который запросто мог отправить в полицию ребенка, едущего без взрослого. В купе я развила такую бурную деятельность, в красках живописав жестокость отца и мачехи, которые снова меня избили, и доброту бабушки, к которой сбежала, что пассажиры прониклись ко мне сочувствием. Дама, сидевшая рядом, при проверке подавала мой билет вместе со своим, получалось, что мы едем вдвоем. Мало того, пожилой пассажир обещал помочь мне пересестъ на нужный поезд.

Отец примчался за мной в Берне довольно быстро, уже через пару дней. Ему не пришлось долго ломать голову, куда

именно сбежала его дочь, слишком подробно я расспрашивала о дороге в Берне, к тому же кто-то из наших видел меня на вокзале.

Бабушка вовсе не была в восторге от моего появления, она прекрасно понимала, какое влияние может оказать ее бизнес на подросшую уже девочку. Из прежних пяти «девушек» в заведении сменились четыре, но они были рады приласкать малышку. То и дело слышались восклицания вроде «какая же ты худенькая!» или «твои волосы невозможно привести в порядок, чем ты их мыла?!».

Меня снова отмыли, накормили и даже приодели, переделав пару платьев из своего гардероба. Все удивлялись, как может ребенок жить в бродячем фургоне.

Я очень боялась появления отца, но твердо знала только одно: я больше не хочу мотаться по всем городам Франции, ночевать где попало и терпеть одну женщину рядом с отцом за другой. Лучше я буду с бабушкой. Я хотела пусть бедный, но дом, пусть нищий район, но постоянное место.

Бабушка не позволила приехавшему за мной отцу побить меня, хотя, думаю, следовало бы. Они долго сидели, беседуя обо мне и о жизни. Мне удалось подслушать кое-что. «Мама Тина» выговаривала сыну за бродяжничество и то, что он гробит себя, выкручиваясь, как винт.

– Ты сломаешься и останешься инвалидом. Эдит еще совсем мала, что с ней будет? Неужели не хватит бродяжничать и выполнять невыполнимые трюки?

– Хорошо, я осяду в Париже, найду какую-нибудь работу. Девочка прекрасно поет, знаешь?

– Неужели ты и ее хочешь заставить жить на улице?

– Я найду постоянную работу... Хотя это тяжело.

– И постоянную добрую женщину.

– Это еще тяжелее...

Мы уехали в Париж, отец даже не стал расспрашивать меня, почему я сбежала. Он продал свой грузовичок, но выступать на улицах не перестал, хотя гибкость была уже совсем не та. И мимо женщин тоже не проходил, мало того, снова дал объявление у газету, и в нашем доме, если можно так назвать какую-то темную конуру с двумя матрасами, поставленными на обломки кирпичей, и колченогим столом, появилась Жанна, мать моей будущей сестры Денизы. Иногда я думаю, как же должна довести жизнь дома, чтобы бежать из него не как я в Берне, а вот в такую конуру, как наша, безо всяких надежд выбраться из нищеты?

Но сначала произошла одна интересная встреча.

– У тебя есть платье почище?

Нашлось, детской одежды в мусорные баки выбрасывали немало, дети состоятельных парижан вырастали из своего тряпья, не успев его сносить, а я была столь маленькой, что для меня легко подходили платьица пятилетних девочек.

– Пойдем.

Мы пришли в кафе, кажется, это был «Батифоле», но я

не уверена. Отец явно кого-то искал взглядом. Вдруг к нам быстрым шагом направилась какая-то женщина. Меня поразила ее странная улыбка – чуть вызывающая и одновременно заискивающая. Причем смотрела она не столько на папу, сколько на меня.

– Это твоя мать. Настоящая.

Что должен чувствовать ребенок, в десять лет впервые увидевший свою мать, которая к тому же бросила свое дитя в полугодовалом возрасте фактически на погибель и столько лет не интересовалась моей судьбой? Я не знаю, что должен чувствовать, но я не чувствовала ничего. Или не помню, чтобы что-то чувствовала. Для меня слово «мама» было пустым звуком. «Мама Тина» означало еду и какой-то уход, а просто «мама» ничего.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.